

Александр Смулянский

Психоз и истина

Виктор Мазин. Паранойя. Шребер – Фрейд – Лакан.

СПб.: «Скифия-принт», 2009. – 208 с.

Освещение рецензируемой работы принято начинать с актуальности вопроса, которому она посвящена. Предполагается, что это послужит объяснением того, почему работа своевременна и удачна, или же, если она неудачна, выступит своеобразной индульгенцией. Но в данном случае мы имеем дело с темой, которая не нуждается в доказательстве и тем более оправдании необходимости ее появления. Случай безумия судьи Шребера является чем-то таким, что постоянно в размышлениях возвращается, и это избавляет от необходимости специально доказывать его актуальность. То, что он возвращается, – факт, и именно в качестве факта с этим и необходимо иметь дело. Способ, которым этот случай снова оказывается тут как тут, примечателен именно потому, что его возвращение всякий раз сопровождается потрясениями, которые у всех на устах, даже если роль шреберовской истории в них не всегда очевидна.

После фрейдовской проработки, оставившей в умах читателей впечатление чего-то примечательного и странного, случай судьи, общавшегося с божественными лучами, недолго пребывал без дела. Так, спустя некоторое время он снова призван – и теперь он понадобился всерьез, поскольку наступила эпоха, в которой бред возводится в достоинство оружия сопротивления «тоталитарной нормативности». То, что раньше именовалось болезнью, воцарилось как идеал всепоглощающего здоровья, и дух Шребера призывается в качестве нового образца этого здоровья. «У судьи Шребера солнечные лучи в заднице», – ликующе возвещает манифест того времени «Капитализм и шизофрения», который в представлении не нуждается. Тем не менее, остается вопрос, является ли эта метаморфоза таким уж радикальным изменением.

Чтобы на него ответить, необходимо вернуться к самому началу истории – к удивившей публику еще тех времен способности Шребера, не смотря на отягощенность душевной болезнью, продолжать отправление своих служебных обязанностей, отделяя их от того мира, в котором он волею своего психоза обитал. Здесь нужно быть особенно внимательными, поскольку такие вещи по душевной политкорректности все время норовят истолковать упрощенно и превратно.

Что, по сути, делает Шребер, когда уверяет публику и врачебную комиссию в своей способности сохранять в психозе трезвое осознание

происходящего? Спросите меня, вызывает он к своим судьям, убедитесь, что я и вправду здоров и внятен как стеклышко, невзирая на тот глубокий бред, который произвожу в поте лица своего.

Действительно, очень многие и сегодня видят в этой здравости возможность устранения того пренебрежительного отношения, которое часто питают к психотику при убеждении, что на рефлексии он не способен. Тем не менее, специально для воодушевленных примером Шребера следует указать, что демонстрация впечатляющего разрыва между помрачением и действительно светлым умом занимает в этой истории совсем иное место. Так, демонстрация эта вовсе не является «естественным» обстоятельством биографии Шребера как человека, обязанного по долгу службы доказывать свою умственную состоятельность и назло врагам блестяще справившегося с задачей. Напротив, с очевидностью бросается в глаза, что эта навязчивая демонстрация входит сюда в качестве того, без чего самому бреду в данном случае было не обойтись.

Именно это и замечает в итоге Жак Лакан, показывая, что задача в работе с такими случаями, как шреберовский, состоит не в том, чтобы, полемически обеляя его, бросить вызов норме, власти или чему-либо еще, но в том, чтобы брать такие случаи как то, чем они являются, иначе говоря, брать их как *материал*¹.

В этом смысле упование на освобождение шреберовского бреда от его клинического смысла представляется Лакану тупиком. Напротив, то, что официальная клиническая инстанция обнаруживается первой у истоков шреберовского случая, отнюдь не означает ее насильственности. Это доказывает последующая история самореализации шреберовского бреда уже без самого Шребера. Говорить о «косной норме», подозревая в ней репрессирующий смысл, нет никаких оснований – напротив, именно к норме апеллирует сам бредящий: он ее зовет и требует к себе. Дело в том, что Шребер попросту не может бредить один, у его дискурса нет для этого возможностей; чтобы его бред состоялся, у него должны быть свидетели – те, кто его освидетельствуют, но равно и те, кто станет свидетельствовать о Шребере. Потому и возможно спросить: не означает ли произошедшая после психиатрического подхода к Шреберу антипсихиатрическая революция всего лишь изменение переменной? Мы законно можем это заподозрить, потому что есть такое место в речи самого Шребера, которое сохраняется в качестве места пустующего, вакантного, приглашая к бреду новых компаньонов.

¹ Лакан Ж. О бессмыслице и структуре Бога. Метафизические исследования. Вып. 14. СПб.: изд-во Санкт-Петербургского философского общества, «Алетейя», 2000, с. 218–231.

Здесь становится возможным прояснить деталь, которую видели то в качестве ключевого обстоятельства шреберовского случая, то в качестве любопытного, но малозначительного эпизода – знаменитое превращение Шребера в «женщину». Не должно ли вызывать вопрос, *что именно* превращается здесь в женщину? И, если вопрос будет так поставлен, не окажется ли, что не Шребер превращается в женщину, но сам его случай? Превращение тем самым оказывается вполне действительным. Именно случай становится соблазнительницей, которая, как ей и полагается, способна заставить встречных потерять голову и решить, что нет иной – более важной – задачи, как только ответить на соблазн. Все авторы, встретившиеся на пути случая Шребера, стали реализаторами этого соблазна, думая, что и вправду спасают Шребера, освобождают его бред от нормативно-клинических оценок, восстанавливают его поруганную честь. Но, защищая психотика, эту «жертву господствующих интерпретаций», точно так же исполняли бредовое желание Шребера, как и в тех случаях, когда подходили к бреду с репрессивно-клинических позиций (не следует забывать, что в свое время Шребер охотно подставлял себя взглядам ученых мужей, которым современный антипсихиатрический гуманизм показался бы смехотворным).

Наблюдения показывают, что бред Шребера, как он представлен, – еще только половина дела. Эта половина являет собой безумевшую половую клетку, которая стремится войти в сцепление с тем, что даст ей имя и определит ее функцию – она ничто без поименования через желание другого. Бред начинает бродить и кочевать, заражая его интерпретаторов. Впрочем, коль скоро они думают, что имеют дело с неким изначально данным бредом (что, как мы увидели, вовсе не так), все они на бред обречены заранее. Целое столетие после Шребера философия, литература и политическая критика бредит трансгрессивным смыслом бреда, бредит освободительными возможностями бреда, бредит бредом как провозвестником «нового письма» и т.п.

Как следовало бы поступить тому, кто вознамерился бы во что бы то ни стало обойти этот заслон, эту маленькую хитрость, с которой шреберовский бред предлагает себя в качестве объекта желания, приманки, заставляющей интерпретаторов ослепленно бросаться в продолжение бреда на тему его самого? Что в таком случае можно предпринять?

Мы увидели, как тот, кто ранее откликнулся на саморекламу бреда, становился его промоутером, позволяя бреду продолжаться уже в своем высказывании. Выход открывается лишь один: чтобы приостановить становление бреда Шребера в качестве «бреда на пару», необходимо взяться за него во всех его подробностях. В данном случае это вовсе не «методический» вопрос, как можно было бы подумать. Здесь должна взять на себя полномочия новая фигура. И действительно, все меняется, когда

случай Шребера получает наконец в лице Лакана аналитика. Именно Лакан сумел показать, что бред необходимо не подхватывать, но иметь с ним дело как с речью, поддающейся аналитическому продумыванию. Не в том дело, что речи Шребера необходимо перестать доверять. Напротив, проблема в том и состоит, что те, кто делали на бред Шребера свои ставки, пусть даже с наилучшими гуманистическими намерениями, по сути никогда не доверялись этому ценнейшему материалу полностью.

Позиция, занятая Лаканом, кардинальным образом изменила ситуацию. До этого то, что называлось шреберовским бредом, психотическим желанием, всегда виделось как обладающее запредельным смыслом или обещающее субъекту новые возможности. Но аналитик оказывается тем, кто способен отказаться от этих возможностей – сколь бы они ни были заманчивы. Так поступать ему позволяет знание о том, что не анализируемый должен соблазнять своего аналитика, а, напротив, аналитик, как показал Лакан, является соблазнителем для анализируемого, давая ему возможность говорить что угодно и имея дело с тем, что в итоге сказано.

Лакан замечает: «Что касается Шребера, то ему хотя бы дали выговориться, благодаря тому, что никто с ним не говорил, отчего и нашлось у него время для написания своего бесценного труда»². Сколько у нас в таком случае оснований, спрашивает Лакан, этим прекрасным шансом пренебречь?

Именно в этом заданном Лаканом направлении следует Виктор Мазин в своей новой работе «Паранойя. Шребер – Фрейд – Лакан». В иных местах ее автор, правда, и сам попадает под влияние соблазна, начиная со Шребером собственный роман. Это выражается в том, что кое-где на страницах работы бред Шребера пользуется правами обличительного голоса, фигурально выражающего то, что сегодня делает с субъектом наука в сговоре с властью и масс-медиа. Это указывает на то, что притягательная сила бреда Шребера все еще велика. Тем не менее, к чести автора следует сказать, что он все-таки выдерживает натиск и позволяет случаю Шребера предоставить нечто такое, чего от этого случая сегодня никто не ожидал.

Это неожиданное более чем отчетливо сформулировано в работе, главным тезисом которой является положение: «Паранойя высказывает истину о человеческом устройстве»³.

Тем самым автор возвращается к примечательному фрейдовскому наблюдению – наблюдению, давшему ход и опору всему, что позже смог сделать Лакан. Это наблюдение, вызывавшее еще у самого Фрейда ис-

² Лакан Ж. Указ. соч., с. 223.

³ Мазин В. Паранойя. Шребер – Фрейд – Лакан, с. 70.

креннее удивление, заключалось в том, что психотическая речь является буквальным предъявлением алгоритма работы бессознательного. Та структура бессознательного желания, которая у обычного субъекта никогда не предъявляется, у психотика проговаривается в речи и тем самым оказывается налицо. Но то, что он выговаривает, – это не какая-то мифическая «подлинная суть наших стремлений» и не «потусторонность хаотического», к которому психотик якобы имеет привилегированный доступ. Это истина самой *структуры* бессознательного, оголенный принцип ее устройства.

Именно так открывается тот рабочий смысл, который из случая Шребера намеревался извлечь Лакан. Шребер не говорит ничего такого, что выступало бы обличением существующего порядка или обещанием какой-либо новизны в природе субъекта – трансгрессии в неведомое или новой чувственности, словом, всего того, на что посредством Шребера рассчитывали те, кого обманула его разговорчивость. Напротив, все, говоримое Шребером, само по себе относится к роду уже существующей истины – это не истина неведомых человеческих возможностей, но истина того, что *уже* происходит в каждом субъекте. Шребер не раскрывает никаких трансцендентных тайн, способных изменить лик земли и потрясти до основания существующий порядок. Он занят тем, что через свой бред выбалтывает секрет того, как устроен субъект – любой субъект, субъект как таковой, «субъект бессознательного». Это то единственное знание, которое безумный Шребер как призванный принести спасение человечеству может нам дать. Только недалекий ум, предупредил бы Лакан, увидит в этом ироничный и разочаровывающий смысл.

Действительно, знание это, как мы видим, оказывается меньше того, что ожидали получить от шреберовского бреда очарованные «тайной психоза» и теми фантастическими горизонтами, которые бред будто бы открывает. Но полученное, тем не менее, бесконечно больше в другом отношении. Буквально на наших глазах вещи, видевшиеся до того в свете тех или иных фантазмов эпохи, оказываются вещами, говорящими истину. Отныне больше нет нужды искусственно защищать специально Шребера, а вместе с ним и сам психоз. Трудно даже представить лучший способ обойтись без дуплета «нормы/патологии» и не оказаться при этом в тисках ressentimentа, доводящего до безумия максимум защиты интересов того, кто ни о какой защите не просил. Не скованный никакими требованиями толерантности, запрещающими называть психоз психозом, автор «Паранойи» получает возможность последовательно показать, как на первый взгляд ни с чем не сообразные вещи – идеи Шребера о «нервной ткани», об «основном языке», о «словах внутри головы» – являются выражением реальных инстанций, выполняющих в каждом субъекте свою повседневную работу.

Таким образом, Шребером вслух артикулируется каждый ход того алгоритма, что в норме действует в формировании бессознательного только лишь неслышно. Именно поэтому автор помещает в название 11-й главы психоаналитический афоризм «Нет паранойи – нет субъекта». У этого положения не один смысл. Конечно, его можно прочесть в духе того гуманистического настроя, который так часто находит свое удовлетворение в суждениях типа «Шребер – не шизофреник, потому что каждый – по сути шизофреник не хуже Шребера». Но есть у этого положения и другой, гораздо более точный смысл. Если нет паранойи – как демонстрации того, что обычный субъект никогда не демонстрирует, – нет и того измерения, которое Лакан называет измерением истины, показывая, как важно бывает его добиться и какие препятствия обычный, непсихотический субъект невольно ставит аналитику.

Напротив, в своей речи Шребер громко и неудержимо описывает то, что происходит в бессознательном – описывает в форме, которая сама никак не может быть названа бредовой. Чем фигура «Высшего Божества», к которой прибегает Шребер, описывая с чем он имеет дело, хуже популярных рабочих метафор психоанализа вроде Сверх-Я или Большого Другого? И то и другое – по сути фигуры; кто ж измерит степень условности обозначения? Речь Шребера – не бред уже потому, что по своему характеру она оказывается полноценно рабочей.

Поэтому Лакан в знаменитой статье «О бессмыслице и структуре Бога» отдает Шреберу должное, показывая, что без его упорства в выражении того, что диктовал ему бред, никакое знание о субъекте и его устройстве было бы ныне невыносимо. «Психически больной, – говорит Лакан, – это воплощение того, к чему может привести привычка принимать вещи всерьез»⁴. Бредовое допущение Шребера, что он обязан фиксировать то, что «лучи» проецируют на его «внутреннюю нервную систему», неожиданно наделяет его речь выгодной позицией. «Такая проекция, – замечает Мазин, – не предполагает никакого зазора между наблюдаемым и наблюдающим»⁵. Это означает, что существует особый план, где речь Шребера сама оказывается психоаналитической речью, неплохо справляющейся с предъявлением того, что обычный субъект – равно не психотик и не аналитик – никогда не показывает и показать не в состоянии.

Не стоит думать, что Шребер о своей ключевой роли абсолютно не догадывается – только выражает он свои догадки фантастическим, смещенным образом, поскольку об этой роли он также вынужден свидетель-

⁴ Лакан Ж. Указ. соч., с. 225.

⁵ Мазин В. Указ. соч., с. 95.

ствовать, ни на секунду не покидая психотического поста. Мазин напоминает, в каких словах сам Шребер расценивал собственную миссию: «Шребер говорит, что благодаря его связям с Богом... имя его ждет великая слава; он уверен в том, что оно переживет тысячи других имен»⁶. И он, заключает автор, не ошибся.

Александра Уракова

Меланхолия как образ жизни

Jonathan Flatley. Affective Mapping: Melancholia and the Politics of Modernism. Cambridge, Mass.; London, England: Harvard University Press, 2008. – 264 p.

Книга Джонатана Флэтли разрушает один из наиболее устойчивых стереотипов повседневной культуры: меланхолия – это уныние, печаль, беспросветный «уход в себя», иными словами, депрессия. Если со времен Галена меланхолия связывалась с преобладанием в организме черной желчи, депрессия объясняется недостатком серотонина, так называемого гормона счастья. Меланхолию лечили прогулками на свежем воздухе, путешествиями и приятными беседами. Психотерапевт и занятия спортом как «рецепты» от депрессии – вариации на ту же тему в условиях современного мегаполиса. О различиях в их восприятии, на наш взгляд, можно размышлять в категориях Сьюзен Сонтаг. В XX веке депрессия, как и рак, – это скорее болезнь среднего класса, связанная с внутренней неудовлетворенностью и подавлением эмоций; меланхолия же, подобно туберкулезу, и в романтическую эпоху, и ранее, в эпоху Ренессанса, считалась недугом поэтов и художников. Правда, как показывает Флэтли в первой главе «Модернизм и меланхолия», процесс медиализации меланхолии начинается только в XIX веке: сатурнический склад души и греховная асидия постепенно превращаются в клиническую болезнь.

Освободить меланхолию от обязательных «депрессивных» коннотаций – задача, требующая изрядного мужества, и Флэтли подходит к ней

⁶ Там же, с. 181.